







А. О. Кони.

## ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА.

(Рѣчь въ торжественномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ 1 марта 1909 г.).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

типографія императорокой академіи наукъ. Вас. Остр., 9 лин., N 12.



А. О. Кони.

## ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА.

(Рѣчь въ торжественномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ 1 марта 1909 г.).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

типографія императорской академіи наукту

Вас. Остр., 9 лин., № 12.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. Май, 1910 года. Непрем'єнный Секретарь, Академикъ *С. Ольденбург*г.





Отдёльный оттискъ изъ Извёстій Отдёленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, т. XIV (1909 г.), кн. 4.

## Памяти Тургенева.

(Рѣчь въ торжественномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ 1 марта 1909 г.).

Когда, по случаю исполнившагося двадцатинятильтія со смерти и девятидесятильтія со дня рожденія Ивана Сергьевича Тургенева, Академія Наукъ возложила на меня обязанность сказать слово въ память покойнаго писателя, я быль въ немаломъ затрудненіи. Что можно сказать новаго о художникъ слова, который быль не только глубокимъ выразителемь думь, чувствь и надеждь русскаго человека, но и обаятельнымь изобразителемъ его быта, его душевныхъ свойствъ и той сърой, но милой сердцу природы, среди которой ему приходится жить?! Не все ли по этому поводу уже сказано въ отдёльныхъ очеркахъ, цёлыхъ лекціяхъ, курсахъ и критическихъ статьяхъ? И можно ли вообще что-либо прибавить къ оценкъ, сделанной на одръ болезни знаменитымъ Тэномъ, который, въ виду уже близкой смерти, находиль наслаждение въ слушании повъстей Тургенева и опредъляль его, какъ художника наиболъе совершеннаго между тъми, кто писаль послъ грековъ, — съ которымъ никто не можетъ сравниться въ строгомъ выборъ матеріала, въ правильности и скульптурной красоть формъ, при чемъ каждая изъ его маленькихъ повъстей напоминаеть безупречную античную камею? Можно бы, пожалуй, разработать вопросы объ отношении Тургенева къ нашей текущей жизни и о томъ, въ чемъ состоятъ и чёмъ являются для насъ его нравственные завъты. Но, эта задача выпала на долю моего товарища по Академіи Н. А. Котляревскаго, и мы только-что слышали, какъ тонко и вдумчиво онъ ее осуществиль. Одно обстоятельство выводить меня однако изъ затрудненія. Перелистывая письма Тургенева къ Некрасову, я нахожу между ними, въ относящихся въ первой половинъ 50-хъ годовъ, письмо съ вопросомъ Тургенева редактору «Современника» о томъ, кто такой авторъ «Дътства и Отрочества» и что за человъкъ тотъ Л. Н. Т., къ которому слъдуетъ отнестись съ особеннымъ вниманіемъ, потому что это — «талантъ надежный». А въ 1847 году Гоголь пишетъ Анненкову: «Изобразите мнъ портретъ Тургенева, чтобы я получилъ о немъ понятіе, какъ о человъкъ; какъ писателя, я уже отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочелъ, талантъ въ немъ замъчательный и объщаетъ большую дъятельность въ будущемъ». Вотъ — и выходъ изъ моего раздумья. Можно попробовать установить представленіе о Тургеневъ, какъ о личности, заглянуть въ его душевный міръ и въ его отраженіе на окружающей общественной средъ, т. е. взглянуть на Тургенева, какъ на человъка въ частной жизни и въ работъ на пользу родинъ.

Для этого въ нашемъ распоряжении довольно много матеріала: прежде всего автобіографическія данныя, содержащіяся въ сочиненіяхъ Тургенева, — затъмъ различныя воспоминанія о немъ, — его письма, болтливые разсказы друзей и отзывы срагова. Последнихъ у Тургенева было немало, что и понятно относительно такого человъка, ибо безъ собственнаго и при томъ выдающагося содержанія нельзя вызвать къ себ'ї ни любви, ни ненависти. Для того, чтобы зажечь сердца однимъ изъ этихъ чувствъ, нуженъ огонь, носимый въ собственной душъ. При томъ какъ сказалъ князю Вяземскому Киселевъ — «человъкъ въдь не червонець, чтобы его всть любили». Еще Пушкинъ върно замътиль, что «умъ, любя просторъ — теснить; и пылкихъ душъ неосторожность самолюбивую ничтожность иль оскорбляеть, иль смёшить». Это действіе ума и пылкой души простирается иногда не на одну ничтожность, такъ какъ узкое и мелкое самолюбіе, къ несчастію, бываеть свойственно и очень крупнымъ людямъ. Мягкій и дов'єрчивый по характеру и образу д'єйствій, Тургеневъ однако не поступался своими искренними убъжденіями и серьезно выработанными взглядами и не склоняль свою выю безъ критики передъ тъми, кто претендоваль на общее признаніе. Онь не быль никогда «жрецомъ минутнаго, поклонникомъ успъха». Недаромъ его очень часто изображаютъ

въ воспоминаніяхъ — оживленно спорящимъ, и неръдко въ проническомъ тонъ. Логическія и нравственныя уродливости въ людяхъ, встръчаемыхъ имъ на жизненномъ пути, воспринятыя его впечатлительнымъ умомъ, выливались у него въ форму насмъшливыхъ прозвищъ, эпиграммъ и крылатыхъ словечекъ, которые затъмъ съ посиъшнымъ злорадствомъ разносились разными дружественными въстовщиками по адресу. Въ этомъ отношении Тургеневъ могъ сказать про себя словами русской поговорки: «языкъ мой — врагъ мой» — и при этомъ не въ томъ смыслъ, какъ это говорилъ про себя одинъ чиновникъ, блестящая карьера котораго была испорчена вслъдствіе опалы, постигшей его принципала. «Уста мои — враги мои!» — восклицаль онъ въ горести, а на недоумъвающій вопросъ вразумительно отвъчалъ: «тридцать лътъ не ту руку лобызали». Отъ мстительной оцінки и необоснованныхъ укоровъ со стороны враговъ теперь почти ничего и но осталось, кром' воспоминаній о недоброжелательной подозрительности Гончарова, развившейся на почвъ бользненнаго соревнованія, и нѣсколькихъ страниць въ «Бѣсахъ» Достоевскаго, имѣющихъ видъ злобнаго памфлета, не дёлающаго чести его великому автору.

Но зато друзья вполнъ осуществляли по отношенію къ Тургеневу испанскую поговорку: «избави меня Богъ отъ друзей, а съ врагами я самъ справлюсь». Ему мало приходилось отъ нихъ слышать словъ одобренія и ободренія въ трудныя минуты жизни, когда такъ нужно бываетъ найти дружескую опору. Изящное опредъленіе дружбы, сдъланное Шиллеромъ: «o Du-Du die alle Wunden heilest, der Freundschaft zarte, liebe Hand», далеко не вполнъ было примънимо къ Тургеневу. Его заграничные друзья были скоръе пріятелями, не имъя съ нимъ ни общаго прошлаго, ни языка, ни пережитаго, а его русские друзья... ихъ рука подчасъ бывала совсёмъ не нёжной и не только не залічивала душевных ранъ, но съ холоднымъ любопытствомъ копалась въ нихъ и «къ первъе наложеннымъ» прилагала новыя раны, съ торопливымъ участіемъ и словами безплоднаго негодованія сообщая о всемъ томъ, что способно было больно уязвить душу писателя. Конечно, были исключенія, но даже лучшіе изъ друзей «разъясняли» ему менторскимъ тономъ недостатки и промахи въ его произведеніяхъ, наводя этимъ его на напрасныя сомнънія въ себъ. Таковъ, напримъръ, былъ тотъ изъ лучшихъ его друзей, который находиль, что удивительная по отдёлке, цёльности и жизненности глава о «Оимушкъ и Оомушкъ» въ «Нови», заставляетъ чувствовать напряженіе, излишекъ головной работы, даже робость и должна быть признана неумъстной, съ чъмъ смиренно соглашался обезкураженный Тургеневъ. Экспансивный и дов'трчивый по натурт, Тургеневъ легко и, повидимому, поспъшно завязываль отношенія близкой дружбы съ людьми, которые не всегда этого стоили, очевидно забывая, что слишкомъ тъсная дружба съ людьми, съ которыми не събдено пуда соли, бываетъ похожа на тонкую и хорошую гравюру, которую слишкомъ часто держишь върукахъ, захватывая ея края пальцами и незамътно портя ея первоначальную красоту. Въ приливахъ незаслуженной откровенности Тургеневъ не щадилъ себя, и даже любиль изображать себя въ смішномь виді или затруднительномь положеніи. Онъ забываль совъть Талейрана: «никогда не говори о себъ дурно: друзья и безъ того достаточно о тебъ наговорять». Вслъдствіе этого «друзья» зачастую судили его не по возвышеннымъ минутамъ проявленія его духовной природы, а по мелочамъ, промахамъ и настроеніямъ ежедневности. Не только Головачева-Панаева, сводившая съ нимъ, въ недостовърныхъ по самой своей формъ воспоминаніяхъ, счеты уязвленнаго и озлобленнаго самолюбія, но и Анненковъ, и даже Фетъ, мемуары котораго представляють удивительное смѣшеніе идеаловъ Скалозуба съ истинной поэзіей — и тихой грусти кръпостника о невозвратномъ съфилософскими афоризмами, — не щадять его. Когда сопоставляешь такія восноминанія съ полными трогательной откровенности письмами Тургенева къ ихъ авторамъ, то невольно приходитъ на умъ тотъ умудренный жизнью человъкъ, который подписываль свои письма словами «преданный Вам..», объясняя опущение твердаго знака темъ, что до поры до времени онъ обыкновенно не знаеть, предань ли онь тому, кому пишеть, или предань тымо, кому пишеть.

Драгоцінный матеріаль для сужденія о Тургеневі дають его письма. Въ нихъ не только сказывается великій русскій писатель со своими печалями и страданіями, съ отношеніемъ къ родині, къ жизни и смерти, къ искусству и творчеству и наконець къ самому себі и друзьямъ, но и блестить его юморъ и тихо світится задушевная грусть, сопровождавшая его, повидимому, всю жизнь. Тутъ нітъ ничего сочиненнаго или приду-

маннаго, нътъ присущаго пишущимъ для публики самолюбованія и желанія выразиться поумнъй и покрасивъй. Это совершенно интимныя письма, набросанныя наскоро и переполненныя множествомъ подробностей, не имъющихъ никакого общаго интереса или значенія. Въ нихъ Тургеневъ, говоря о томъ или другомъ, незамътно для себя свидътельствует о самомъ себъ.

Говоря объ общественной дъятельности или, върнъе, объ общественныхъ заслугахъ Тургенева, невольно приходится остановиться на его дътствъ и ранней молодости. Они были очень тяжелы, безъ теплаго привъта, безъ ласки и внимательнаго отношенія къ воспріимчивой душъ ребенка и къ впечатлительному сердцу отрока. Онъ имълъ полное право сказать словами Некрасова: «ничъмъ я въ дътствъ не плъненъ — и никому не благодаренъ!» Въ карамазовской до извъстной степени обстановкъ помъщичьей усадьбы въ Спасскомъ-Лутовиновъ царила жестоко и властно мать Тургенева, невольное воспоминание о которой сквозить въ его словахъ о помъщицъ въ «Муму» — «День ея нерадостный и ненастный давно прошель, но и вечерь ея быль чернье ночи». Отець писателя «красавецъ-мужчина», поправившій свои д'єла женитьбой на богатой некрасивой дівушкі, быль человікь равнодушный ко всему и въ томъ числё къ дётямъ. Ограничась относительно ихъ ролью чистокровнаго производителя, онъ покорно склоняль свою выю подъ иго жены. Его совершенно обезличила и обезволила эта женщина — образованная, мстительная, виртуозная по части жестокихъ оскорбленій подвластнымъ будутъ ли это дъти или дворовые — и сводившая на измученной и подавленной душть и на спинт своихъ кртностныхъ свои счеты съ судьбою, пославшей ей угрюмую и тяжелую молодость. Безхитростныя воспоминанія Житковой содержать рядь картинь, рисующихь то утонченное сладострастіе мучительства окружающихъ, которымъ она вознаграждала себя за отсутствіе любви и ласки въ молодости. Крипостное право отражалось не на однихъ крестьянахъ: оно наносило удары и вверхъ и въ стороны, принижая однихъ, растлівая другихъ, оскорбляя третьихъ. Къ посліднимъ принадлежалъ Тургеневъ. Ежедневныя мелкія и крупныя злоупогребленія пом'єщичьей властью оставляли въ его душ'є незаживавшіе нравственные рубцы и наконецъ переполнили его сердце праведнымъ гнъвомъ. Этотъ гнъвъ нашелъ себъ могучаго союзника въ великомъ талантъ писателя и помъщаль ему, подобно многимъ изъ его современниковъ, искать утъшенія въ философской формуль, что «все существующее разумно», или отдаться безмятежному служенію «чистому искусству». Сквозь «шопотъ, робкое дыханіе» ему слышались заглушенныя рыданія и стоны людей, обращенныхъ въ вещи, которыми можно торговать и уплачивать карточные долги. Поэтому, когда онъ сталъ «смятенія и звуковъ полнъ», это смятеніе вызывалось въ немъ не «трелями соловья и серебромъ и колыханіемъ соннаго ручья», а созерцаніемъ рабскаго ига, которымъ, по выраженію Хомякова, была клеймена Россія, а звуки эти были голосомъ сильнъйшаго негодованія. Объясняя свое раннее (въ 1847 г.) быство за границу, Тургеневъ самъ говоритъ: «я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тъмъ, что я возненавидълъ; мнъ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тъмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнъе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имълъ опредъленный образъ, носиль извъстное имя: врагь этоть быль кръпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я ръшиль бороться до конца — съ чемъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва».

Но вопросъ о готовности на эту борьбу со стороны писателя тъми чудными средствами, которыя были даны ему судьбою, влекъ за собою другой: «пакъ бороться?» Кръпостное право, несмотря на свое безобразіе, было не только однимъ изъ «устоевъ» современнаго ему общественнаго устройства, имъвшимъ по своему значенію право войти въ качествъ четвертаго члена въ пресловутую трехчленную формулу Уварова, но представлялось глубокимъ бытовымъ и органическимъ явленіемъ. Оно было сильно не только само по себъ, но и помощью неожиданныхъ союзниковъ извнъ. Если нельзя считать серьезными и искренними предположенія объ его уничтоженіи со стороны Александра І въ тъ минуты, когда «сфинксъ, неразгаданный до гроба», начиналь сентиментально «любить человъчество» и послъ того, какъ заступившись за черных невольниковъ на лондонскомъ конгрессъ, вспомнилъ, что и у него въ Россіи существуютъ бюльне невольники, — то совсъмъ нельзя того же сказать про императора Николая І. Послъдній искренне желаль освободить Россію отъ позора, ко-

горый, какъ бы въ насмъшку надъ справедливостью, носилъ название права. «Я не понимаю, — говорилъ онъ: — какимъ образомъ человъкт сдълался вещью, и не могу себъ объяснить этого иначе, какъ хитростью и обманомъ съ одной стороны и невъжествомъ — съ другой. Этому должно положить конець!» Онъ ясно сознаваль тоть вредь матеріальный и нравственный, который причиняла всему государственному организму такая внутренняя язва. Но общее настроеніе окружающихъ, возросшихъ среди беззаботныхъ выгодъ и удобствъ дарового труда — раболъпныя увъренія, что все обстоить и будеть еще долго обстоять благополучно, на ряду съ искусственно преувеличенными опасеніями, высказываемыми съ смълостью своекорыстія—и наконець, въ особенности, тревожныя впечаттленія, вызванныя неожиданнымъ внёшнимъ союзникомъ крепостного права—западно-европейскими событіями 1848 и 1849 гг. — парализовали волю монарха, окутывая ее сомниніями и колебаніями. Онъ, всегда увъренный въ своей силъ и властный, не только избъгалъ ръшительныхъ мъръ въ борьбъ съ рабовладъніемъ, но и не высказывался внолнъ опредъленно объ упразднении кръностного права, говоря обыкновенно съ довъренными лицами лишь о его преобразовании. Несомнённо, что онъ эсселал видёть Россію освобожденною отъ крепостного ига, но захотть этого и въ такомъ смыслъ проявить прямо и безповоротно свою волю-не находиль въ себъ ръшимости. Поэтому все его царствование прошло въ отдъльныхъ мёрахъ, обсуждение которыхъ было обставлено строжайшею «келейностью», и которыми предполагалось достигнуть смягченія несовмістимаго ни съ человіческимь, ни съ государственнымъ достоинствомъ порядка. Но ничего цъльнаго, пролагающаго новые пути для народной жизни, сдълано не было. Со своими великодушными желаніями государь быль почти совершенно одинокъ среди сплотившихся вокругь него заступниковъ существующаго криностного строя. Поэтому нападать на крипостное право, рисуя обратную сторону, т. е. глубокое безправіе массы и широкое поле для возможности злоупотребленій было безполезно; обращаться къ уму читателей и къ тому, что составляетъ fundamentum regnorum, къ необходимости справедливости въ отношеніяхъ между членами государства т. е. дійствовать логическими доводами или взывать къ совъсти-не стоило: эло слишкомъ глубоко въйлось и стало большинству казаться естественнымъ и, какъ законы природы, непреложнымъ явленіемъ. Для воспріятія логическихъ доводовъ нуженъ воспріимчивый и непредубѣжденный умъ, а совѣсть... какъ часто и въ отдѣльныхъ лицахъ и въ цѣлыхъ общественныхъ слояхъ она спитъ или, въ лучшемъ случаѣ, дремлетъ! — Оставалось дѣйствовать на чувство. И такъ какъ большинство мыслитъ образами, то въ этой области и надо было почеринуть оружіе для своего воинствующаго творчества. Недаромъ Гоголь совѣтовалъ: «Заговори съ обществомъ на мѣсто жаркихъ разсужденій живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей, и двери сердецъ раскроются сами къ принятію ихъ, если только почувствуютъ, хоть каплю почувствуютъ, что они взятъ изъ нашей природы, изъ того же тѣла». Поэтому и воевать слѣдовало художественными образами, почерпнутыми изъ крѣпостного быта и правовъ.

Чемъ же связать, проникнуть и одухотворить эти образы? Ненавистью?.. Но для того, чтобы проповедь ненависти нашла себе благопріятную въ обществъ почву, необходимо, чтобы самая ненависть была уже въ зачаткахъ посвяна въ массв лицъ и во всякомъ случав подготовлена предшествующимъ презрѣніемъ къ тому или другому явленію, т. е. темь чувствомь, которое верно характеризуеть Луи Блань, говоря, что «le mépris c'est la haine en repos». Только въ этомъ случав задача художника или публициста собрать разсвянную ненависть воедино и лать ей кристаллизоваться вокругь одного представленія — можеть быть успъшна... Или призвать «музу пламенной сатиры»?.. Но если часто «difficile est satiram non scribere», то у насъ въ то время, когда Тургеневъ выступиль противъ крѣпостного права, было гораздо чаще «difficile satiram scribere», потому что цензура того времени была подозрительна и труслива, тупа и невѣжественна. Оставалось чувство, противоположное ненависти: мобовь, которою такъ многое можно взять тамъ, гдъ безсильны или недопустимы проклятія негодованія. Вооруженный этою любовью, какъ бы следуя будущимъ словамъ Некрасова: «иди къ униженнымъ, иди къ обиженнымъ и будь имъ другъ!», выступилъ Тургеневъ на обличение кръпостного права. Эта любовь къ кръпостному человъку, — къ крестьянину и дворовому, — ничъмъ не задуваемая, яркая и

согрѣвающая свѣтится на всѣхъ страницахъ «Записокъ охотника». Она вливается въ душу читателя и несомнённо заставила многихъ добрыхъ и порядочныхъ, но близорукихъ или ослъпленныхъ людей прозръть и, почувствовавь въ каждомъ изъ незамѣтныхъ героевъ «Записокъ охотника» — брата, почуять въ крипостномъ склади жизни своего нравственнаго врага. Такой смыслъ имъли эти и близкіе къ нимъ по содержанію, незабвенные разсказы и для вдумчивыхъ людей со стороны. Достаточно сказать, что Карлейль называль «Муму» самою трогательною повъстью въ свътъ. Вліяніе «Записокъ охотника» и этой повъсти было равносильно ихъ значенію. Есть слова, вырывающіяся изъ сердца и заставляющія безсильно опустить руки; есть другія, вливающія въ него благотворное чувство обновленія. Къ первымъ относятся роковыя — поздно и тщетно; ко вторымъ — жалко и стыдно. «Записки охотника» вонзились, какъ стръла, въ сердце читателей: послъднимъ сдълалось жалко, имъ стало стыдно... Но, къ счастью, еще не было поздно. Есть несомивнное свидътельство, что наслъдникъ престола читалъ «Записки охотника» и правильно оцениль вложенную въ нихъ мысль. Онъ самъ объ этомъ впослъдствіи приказаль передать Тургеневу. Конечно, не одно это чтеніе подвигло Александра II на великое дъло освобожденія крестьянъ, но Тургеневъ имълъ полное основаніе сказать про великодушное рѣшеніе государя, принятое вопреки всевозможнымъ противодъйствіямъ, настойчиво и ръшительно — «и моего тутъ меду капля есть» — и капля большая. «Теперь крипостное право, — писаль въ 1862 году Салтыковъ-Щедринь — какой-то тяжкій и страшный кошмарь, въ которомь давящій и давимый были равно ужасны, — кошмаръ, отъ котораго избавило великое прекрасное слово Царя-Освободителя... Да, оно одно!» Я радуюсь привести эти слова нашего сатирика теперь, сегодня, въ скорбный день, когда многострадальный образъ Александра II съ особой яркостью возникаетъ предъ всеми, кто знаетъ, кто самъ виделъ то, что онъ сделаль для Россіи и чъмъ она ему обязана. Но и заслуга Тургенева — какъ идейнаго подготовителя великаго дъла—не можетъ и не должна быть забыта. Онъ имъть полное право плакать умиленными слезами душевнаго удовлетворенія на молебит, заказанномъ имъ въ Парижт по поводу 19 февраля 1861 года, вибств со старикомъ-декабристомъ княземъ Волконскимъ. —

«Для твоего памятника,—сказаль, провожая прахъ Тургенева въ Россію Edmond About (Эдмондъ Абу): — достаточно будеть обрывка цъпи, брошеннаго на могильную плиту; твое честное самолюбіе было бы удовлетворено такимъ мавзолеемъ, и этотъ символъ громко говорилъ бы о томъ, что ты сдълалъ для своей родины».

Эта общественная заслуга нашего писателя имъла и другую сторону. Подрастающее молодое покольніе въ большихъ русскихъ городахъ и въ особенности въ Петербургъ-дъти чиновниковъ, купцовъ, людей свободныхъ профессій и т. п. — получали очень смутное, а подчасъ и никакого представленія о народ'є въ тісномъ смысліє слова. Різдкое соприкосновение съ извощиками и людьми отхожихъ промысловъ не могло дать имъ яснаго представленія о русскомъ крестьянинт и безправныхъ условіяхъ его быта. Имъ разсказывались анекдоты про «мужика» и вмісті съ тъмъ внушалось, что огромная крестьянская масса можетъ и должна быть довольна своимъ внутреннимъ благоденствіемъ и понечительной о немъ заботой, а для внъшнихъ враговъ представляетъ исполинскаго богатыря, страшная мощь котораго заключаеть въ себъ неисчерпаемый источникъ «побъдъ и одольнія». На сценъ и въ текущей литературъ, за исключеніемъ Григоровича и отчасти Даля, крестьянинъ игралъ лишь эпизодическую и не заставлявшую задумываться роль, а исевдо-народный языкъ, которымъ говорили изръдка выводимые въ разсказахъ и повъстяхъ «простолюдины», напоминаль деланный языкъ прокламацій графа Растопчина, которыми онъ думалъ успокоить московскихъ жителей при надвинувшейся на Москву опасности, наканунт вступленія Наполеона. А въ театральныхъ афишахъ была даже, послъ перечисленія дъйствующихъ лицъ, особая рубрика, носившая названіе «гости и пейзане». Благодаря этому умышленному, а подчасъ и безсознательному закрыванію глазъ на дъйствительность, городская молодежь, не принадлежавшая къ помъщичьему классу, въ сущности не была знакома съ крестьяниномъ и не въдала ничего о его страданіяхъ. А между тъмъ эта молодежь въ огромномъ большинствъ шла на службу и, наполняя столичные департаменты и канцеляріи, въ своей совокупности представляла того «столоначальника», который, по горестному сознанію императора Николая I, «управляль Россіей». Правда, изь этой молодежи вышель и Николай Милютинъ, тотъ, по выраженію Некрасова, «кузнецъ-гражданинъ», который такъ много поработаль въ дълѣ уничтоженія крѣпостного право. Но онъ воспитывался въ исключительныхъ условіяхъ и самъ быль исключительнымъ человѣкомъ. Тургеневъ, а вслѣдъ за нимъ и Некрасовъ познакомили эту молодежь съ «сѣятелемъ и хранителемъ» русской земли, дали возможность заглянуть въ его душу, оцѣнить тотъ тихій свѣтъ, который въ ней горитъ, несмотря на кору невѣжества, понять его скорби и полюбить его!

Когда надъ русской землей прозвучаль благовъсть освобожденія крестьянь, Тургеневь могь бы сказать себь: «нынь отпушаеши»... Но онъ зналь, что говорить это еще рано, что криностное право пустило слишкомъ глубокіе, развращающіе всѣ слои общества, корни, и что мы im Grossen und Ganzen сдъланы изъ плохой глины: нагръваемся очень скоро, но жаръ хранить умвемъ недолго. Онъ понималъ, что измвнение нравовъ и впитанныхъ рядомъ поколъній взглядовъ почти всегда — и притомъ значительно -- отстаетъ отъ законодательныхъ преобразованій, -- и въ перестроенномъ наскоро зданіи остаются старые, лишь на время притихшіе жильцы. Горькій оцыть учить, что между самыми благодітельными мърами и не только бюрократической, но и общественной средою, существуеть глухой разладь, трудно уловимый въ частностяхъ, но больно ощутимый въ цёломъ. Иногда такая мёра, такой необходимый починъ не встръчають, повидимому, никакого противодъйствія: предъ ними все разступаются, и, разсъкая смълымъ ударомъ то или другое явленіе, они доходять до самаго его дна, казалось бы безповоротно покончивъ съ его существованиемъ. Но это лишь кажется: посмотришь — а сверху уже снова все слилось въ липкую и вязкую какъ кисель массу, и отъ разрыва не осталось и следа. Недаромъ Салтыковъ тревожно спрашиваль, гдъ гарантія въ нашемъ быту тому, что кръпостное право не продолжало бы существовать: «Въ правахъ, что ли? — спрашивалъ онъ. — Но развъ неизвъстно, что славяне имъютъ нравъ веселый, легкій и мало углубляющійся? Въ слезахъ, что ли? Но развіз неизвістно, что такіе слезы капають внутрь, на сердце и все накипають, пока не перекипять совершенно?» И Тургеневъ не успокоился, а съ зоркимъ перомъ въ рукъ принялся слъдить за вибріономъ кръпостничества, указывая на него

русскому читателю. Рисуя въ «Дымѣ» и «Нови» злобное шипъніе и готовность на тайныя козни противъ великихъ реформъ Александра II, онъ влагаль въ уста некоторымъ изъ своихъ героевъ такія речи: «Надо нередълать все сдъланное... и 19 февраля—насколько это возможно. Оп est patriote ou on ne l'est pas, и когда омрачение овладъваетъ даже высшими умами, должно предостерегать, должно говорить съ почтительной твердостью: воротитесь, воротитесь назадъ»!... Рисуя рядомъ съ этимъ въ той же «Нови» хождение въ народъ, онъ скорбълъ о безплодной растрать силь частью нашей молодежи для достиженія неясныхь въ способъ своего осуществленія цілей, среди равнодушія однихъ, злорадства другихъ и непониманія третьихъ, но онъ не отрицаль въ этой части искренняго желанія помочь народу и, изображая бользненное проявленіе общественной потребности, ненаходившей себъ нормального исхода, умъль отнестись къ жертвамъ такого положенія не съ бездушнымъ осужденіемъ а съ пониманіемъ и состраданіемъ вдумчиваго художника. Убъжденный поклонникъ постепеннаго общественнаго развитія, безъ судорожныхъ прыжковъ впередъ и боязливыхъ отступленій назадъ, мягкій по складу своей души, Тургеневъ никогда не впадаль въ рабскую лесть ни предъ толпой, ни предъ отдъльными группами или лицами. Въ его сочиненіяхъ, затрогивающихъ иногда очень острые вопросы современности, господствуеть, если можно такъ выразиться, художественное правосудіе. И онь, съ одинаково-глубокимъ безиристрастіемъ, на ряду съ Кукшиной, Степанчиковой и Губаревымъ изображалъ покрытую вившнимъ лакомъ цивилизаціи групну подъ дубомъ Баденъ-Бадена и Каломейцева изъ «Нови». Напротивъ, своими твореніями онъ со всею силою своего таланта предостерегаль противъ лукаваго льстеца, который, по словамъ Пушкина, «на царя бъду накличетъ и изъ его державныхъ правъ одну лишь милость ограничить». Друзья Тургенева не безъ ехидства указывали на женскія свойства его натуры. Да, это было въ изкоторыхъ отношенияхъ върно: онь быль похожь на простую русскую женщину, имъ такъ чудесно описанную, которая нередко на вопросъ, любить ли она, отвечаеть: «известно, жалью». Какъ индійскій мудрець, отъ следоваль браминскому правилу: «tat twam asi» (это тоже ты)! и умъль ставить себя на мъсто каждаго, сливаясь со всъмъ сущимъ въ чувствъ общей солидарности. Достаточно припомнить его обезьянку на кораблѣ въ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ». Но если разумъ его умѣлъ все понимать, его любящее женское сердце умѣло экалътъ.

Однако любовь Тургенева къ русскому человъку и кърусской землъ такъ нъжно и красиво выраженная, напримъръ, въ «Деревиъ» его «стихотвореній въ прозъ», не была сльпою, способною видьть однь лишь достоинства и упорно закрывать глаза на недостатки. Этимъ онъ выгодно отличался отъ современныхъ ему славянофиловъ, нападавшихъ на его «западничество». Онъ самъ шутя называлъ себя нѣмцемъ и вооружался противъ мистическихъ представленій объ исключительномъ призваніи русскаго человъка, отыскивая въ его жизни и свойствахъ трезвую правду и не утъщая себя восторженнымъ представлениемъ о немъ «im Werden». Человъкъ всею дущою русскій, онъ быль чуждъ сленого культа «своего», который часто переходить въ пагубный шовинизмъ. Любить отечество не значить страдать патріотической близорукостью. Устами своего Потугина въ «Дымѣ», Тургеневъ говоритъ: «страстно люблю и страстно ненавижу странную, милую, скверную, дорогую родину». Когда, однажды, за товарищескимъ объдомъ въ Парижъ, французскіе писатели стали разсуждать объ отличительныхъ коренныхъ свойствахъ европейскихъ расъ, Тургеневъ ръзко противопоставилъ холодному культу права у человъка латинскаго илемени—*человъчность* русскихъ людей. Въ своемъ «Гамлеть» и «Донь-Кихоть» онъ безусловно становится на сторону послыдняго, на сторону Alonzo el bueno, привътствуя въ немъ это названіе, какъ символъ всей его неустанной борьбы со зломъ. Но его смущаетъ безволіе русскаго человіка и затрата имъ большихъ природныхъ силъ на пустяки, — отсутствіе настойчивости и выдержки — и практическое оправданіе имъ въ жизни горестнаго изреченія о томъ, что «суждены намъ благіе порывы, но свершить ничего не дано». Онь съ горечью отмъчаеть, что жизнь русскаго развитого человька наподняеть не творческая діятельность, не жажда созиданія, не esprit de combativité, а разлагающій -анализъ, «ковырянье» въ собственной душт и удовлетворение одними «безкрылыми желаніями». Онъ рисуеть рядь лиць, махнувшихь на все рукой; — Каратаева, лишняго человъка Чулкатурина, Гамлета Щигровскаго увзда, Рудина, Лаврецкаго съ его «догорающею безполезною

жизнью», Берсенева, пишущаго тяжелымъ, съ обиліемъ иностранныхъ словъ, языкомъ «о нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дълъ судебныхъ наказаній» въ то время, какъ Россія «въ судахъ полна неправды черной». Имъ онъ противополагаетъ людей, умъющихъ не только желать, но и хотъть, будеть ли то бъдный восторженный служитель искусства Леммъ или энергическій, одушевленный ясной и высокой целью Инсаровъ... Его любимый герой быль Базаровъ-фигура, по его словамъ, сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная и честная. Онъ горячо желаль внушить читателю любовь къ нему, несмотря на всю его грубость, сухость и резкость, ибо создаваль его съ любовью и чуткостью необыкновенной и до того сроднился съ нимъ, что въ течение двухъ мъсяцевъ велъ дневникъ своего героя, гдъ старался выяснить самому себъ то, какъ отнесся бы такой человъкъ къ различнымъ крупнымъ и мелкимъ обстоятельствамъ жизни. А когла онъ писалъ страницы о смерти Базарова, онъ не могъ удержаться отъ CLEST. THE CLEST OF THE CASE OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Но если Тургеневъ съ сомнъніемъ покачиваль головой, взирая на слагавшіеся у него въ душь образы русскихъ мужчинъ, то къ русской женщинь онъ относился съ гораздо большимъ довъріемъ и возлагалъ на ея душевныя силы великое упованіе. Можно безъ преувеличенія сказать, что ему принадлежить первое мъсто среди изобразителей русской женщины и толкователей ея душевнаго строя. Впервые русскую женщину намъ показалъ Пушкинъ. Бъдная Лиза Карамзина, «прекрасная тъломъ и душою, нъжная и чувствительная поселянка», утопившаяся послъ того, «какъ мракъ вечера питалъ желанія Эраста, богатаго дворянина съ изряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ, и никакой лучь не могъ освътить его заблужденія», - кром'в имени и внішней обстановки, ничего не имъла въ себъ національнаго и типическаго. Не создалъ русской женщины и Гоголь, несмотря на объщание показать ее во всемъ блескъ душевной красоты. Его Уленька второй части «Мертвыхъ душъ» — не живое лицо. Чудесна Татьяна, вся озаренная лучами чума и сердца великаго поэта, но она, по условіямъ жизни и воспитанію, принадлежить къ одному лишь слою общества. Она -- олицетворение долга, которому приносится безхитростно и вмъстъ величаво въ жертву личное счастье.

«Но, — говорить она Онъгину — я другому отдана и буду въкъ ему върна». Общество шло однако впередъ, личность завоевывала себъ новыя права, и быть «отданной» — изъ общаго правила становилось исключеніемъ: на мъсто покорнаго принятія своего «жребія» явился свободный выборь по влеченію сердца. И Лиза Калитина въ «Дворянскомъ гибздъ» тоже приносить себя въ жертву долгу, но понимаеть его уже гораздо шире, чтмъ Татьяна. Но и на этомъ «чистъйшей прелести чистъйшемъ образцъ» нельзя было остановиться. Измінявшійся складь общества, подмінаемый и часто предчувствуемый Тургеневымъ, звалъ женщину за предълы ея прежнихъ прекрасныхъ самихъ по себф задачъ: — иногда исцълять, часто облегчать и всегда утъшать. Открывалась область не одной нассивной и сострадательной любви, но область любви дъятельной, когда приходится стать по отношению къ избраннику сердца товарищемъ, другомъ и опорою въ житейской борьбъ-стать тъмъ, что въ старину образно называлось «потрудилицей и сослужебницей». И Тургеневъ рисуетъ цёлый рядъ очаровательныхъ женскихъ образовъ, исполненныхъ этой дъятельной любви. Стоить вспомнить его Елену, Маріанну, героинь «Живыхъ мощей» и многихъ другихъ его разсказовъ. Андреевскій въ своемъ стихотвореніи «На смерть Тургенева» совершенно справедливо говорить, что «онъ далъ впервыя проводницу — сынамъ проснувшейся страны, — на смълый трудъ изъ тишины онъ вызваль русскую дъвицу и быль онъ другь ея мечты, души глубокій познаватель, — ея стыдливой красоты неподражаемый ваятель». Тургеневъ показаль въ русской женщинъ всъ задатки духовнаго равноправія съ мужчиной, признавъ которые и давъ имъ свободное развитіе, следуеть открыть ей широкій путь къ гражданскому равноправію въ общественномъ быту и къ праву на всякій трудъ который не противоръчить ея физической природъ.

Но не однимъ содержатся и драгоцѣные уроки литературнаго творчества и оцѣнка его орудій. «Къ живописи, — говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: — примѣняется то же, что къ литературѣ и ко всякому искусству: кто всѣ детали передаетъ — пропалъ; надо умѣтъ схватывать однѣ характеристическія черты; въ этомъ одномъ и состоитъ талантъ и даже то, что называется творчествомъ». Въ его совѣтахъ на-

чинающимъ писателямъ и мивніяхъ, приводимыхъ Гонкуромъ, всегда звучитъ проповъдь устраненія всего излишняго, l'élimination du superflu. а его собственныя произведенія являются образцомъ сжатости и силы. «Нельзя поэзію намазывать толстымъ слоемъ, какъ масло, -- говорить онъ въ письмахъ къ Пичу-нъмцы дълаютъ двъ огромныя ошибки въ своихъ разсказахъ: первая — несносное мотивированіе, а вторая — проклятая идеализація действительности. Описывайте правду просто и поэтично: идеальное проявится само собою». Негодуя на мораль, придъланную французскимъ переводчикомъ къ его «Первой любви», онъ восклицаетъ: «Такія рефлективныя пережевыванія мыслей совствы не въ моей натурь: они напоминають мив кудахтание курицы посль того, какъ она снесла яйно. Это въ высшей степени безполезно и только запутываетъ авло». Такимъ образомъ, раздвляя взглядъ Гоголя, что со словомъ нало обращаться честно, онъ находиль, что со словомъ надо обращаться и скипо. Каждый читавшій его произведенія, конечно, согласится, что онь владель не только тайно художественного внушенія, но имель и даръ внушенія нравственнаго. Это умініе волновать сердце не одною красотою, но и совъстью своего таланта, составляеть его великую заслугу. Съ нъкоторыхъ поръ искусство вступило на скользкій путь. Прежде оно изображало страсти, теперь оно стремится изображать пороки. Такимъ образомъ естественное проявление человъческой природы замъняется ея извращеніями. Невольно приходится вспомнить то, что сказаль Гёте про величайшаго изобразителя человъческихъ страстей-Шекспира, который «предлагаеть намъ золотыя яблоки въ серебряныхъ чашахъ; чаши-то, пожалуй, и остались, но наполняютъ ихъ нынѣ картофелемъ». — Тургеневъ не шель по этому пути, и отсюда — цъломудріе его изображеній, въ которыхъ онъ какъ бы следоваль итальянскому правилу: «da dir poco e far pensar assai». Стоитъ припомнить ночную сцену между Лаврецкимъ и Лизой въ саду, или приходъ Елены къ Инсарову, и представить себф, что бы сдълаль изъ этого какой-нибудь развязный современный порнографъ.

Тургеневъ считалъ своимъ учителемъ Пушкина и говорилъ о немъ съ увлеченіемъ, съ гордымъ одушевленіемъ, ревниво ограждая его отъ сопоставленія съ кѣмъ-либо. Мнъ помнится его восхищеніе тѣмъ, какъ Пушкинъ въ нѣсколькихъ словахъ умѣлъ изобразить душевное настроеніе поэта, когда имъ овладѣваетъ вдохновеніе и, оставивъ дѣтей ничтожныхъ міра, онъ оѣжитъ въ широкошумныя дубравы — «смятенія и звуковъ полнъ». «Тотъ, кто испыталъ на себѣ приливъ такого вдохновенія, — говорилъ Тургеневъ — тотъ знаетъ, что ярче и сильнѣе нельзя изобразить вызываемое имъ состояніе души, какъ то сдѣлалъ великій русскій поэтъ. Смятеніе, именно смятеніе»!! Онъ не могъ хладнокровно читать вслухъ вещей Пушкина. Одинъ изъ слышавшихъ его на публичномъ чтеніи въ Парижѣ, разсказываетъ, что при чтеніи «Цыганъ» въ голосѣ Тургенева послышалось волненіе; фигура его сгорбилась, лицо поблѣднѣло; увлеченный и растроганный, онъ, казалось, забылъ и о публикѣ и обо всемъ на свѣтѣ... Послѣдиюю сцену онъ прочелъ почти шопотомъ. Когда онъ кончилъ и сошель со сцены, руки его дрожали, и онъ, кажется, плакаль...

И русскому языку сослужиль онь великую службу. Языкъ каждаго народа-его лучшее достояніе, его святыня. «Когда народы, распри позабывъ, въ одну семью соединятся», когда статуя Марса станетъ оставленнымъ символомъ, а двери храма Януса закроются навсегда, тогда, конечно, земнымъ божествомъ народа станетъ его языкъ. Такое именно боготворящее преклоненіе предъ русскимъ языкомъ обнаруживаль Тургеневь, говоря: «Во дни сомнъній, во дни тягостныхъ раздумій о судьбъ моей родины — ты одинь мнъ поддержка и опора, о, великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ». И какъ владъль онъ этимъ языкомъ! Нельзя, напримъръ, не придти въ восхищение отъ удивительнаго, точно высъченнаго во мраморъ языка «Пъсни торжествующей любви». Мит думается, что ни въ одномъ изъ чьихъ-либо произведеній на русскомъ языкѣ не доведено до такого совершенства соотвѣтствіе словъ и выраженій смыслу содержанія, и не связаны такъ тъсно мысль и осуществление ея въ живомъ словъ. Спокойный, сжатый, почти льтописный языкъ начала разсказа смыняется, какъ только появляется загадочная фигура Муція, языкомь, въ которомъ слышится тревога, и слова следують одно за другимъ, какъ удары горячечнаго пульса... Но сходить со сцены на время Муцій, и снова въ языкъ наступаеть успокоеніе, окончательно сміняемое со вторичнымъ появленіемъ Муція удпвительной образностью, силой и мрачною красотою слова, чтобы завершиться примирительными аккордами, въ самомъ концѣ которыхъ однако снова звучитъ тревожная нота. «Берегите нашъ русскій языкъ, завѣщанный Пушкинымъ, — восклицаетъ Тургеневъ — не обращайте могучаго рычага въ подпорки». Этотъ завѣтъ его слѣдуетъ особенно помнитъ теперь, когда къ русскому языку проявляется подчасъ отношеніе, какъ къ несчастной «жертвѣ общественнаго темперамента», при чемъ его вынуждаютъ, подобно ей, переносить неуважительное обращеніе ремесленниковъ пера и служить растлѣнной фантазіи психопатовъ искусства.

Тургеневь не быль жрецомь чистаго искусства, витающаго въ области фантазіи, далекой отъ тревожныхъ и загадочныхъ вопросовъ текущей дъйствительности. Въ своихъ произведеніяхъ онъ неръдко подходитъ ит научными вопросамь изъ области психологіи и даже психіатріи, къ бользненнымъ общественнымъ явленіямъ, надъ которыми задумывается соціологь. Во всеоружім своего поэтическаго творчества онь затрагиваеть въ своемъ художественномъ вымыслѣ научные вопросы, выходящіе за предълы поэтическаго вдохновенія. Его интересуеть то, что въ современной исихіатріи называется навязчивыми идеями, властно, неотвязно и пагубно овладъвающими потерявшею свое равновъсіе душою. Таковъ «Разсказъ отца Алексъя», представляющій удивительную по своей върности, почти клиническую картину возникновенія и развитія подобныхъ идей. Болъзненные сны, предчувствія и галлюцинаціи находять себъ тонкое изображение въ «Кларъ Миличъ» и «Собакъ»; внушение и гипнозъ нарисованы удивительными чертами въ «Пъсни торжествующей любви» и, наконецъ печальная и грозная бользнь нашего времени, съ одинаковой силой развернувшая свое черное крыло надъ людскимъ несчастіемъ, безнадежностью, отчаяніемъ и слабой волею, одинаково поражающая и людей усталыхъ отъ жизни и ея еще не познавшихъ-самоубійство—не разъ выступаеть на страницахъ его произведеній.

Переходя отъ общественной и литературной дъятельности Тургенева къ его личности и жизни, я живо представляю его себъ — высокаго ростомъ, съ крупными чертами «мужицкаго», какъ и у Льва Толстого, лица, съ нависшей на лобъ прядью съдыхъ волосъ. Вся его повадка имъла характеръ силы и достоинства. М. М. Ковалевскій, видъвшій его впер-

вые въ 1872 г., быль поражень его внёшностью, напоминавшею престарвлаго и усталаго льва. Особенно привлекали его глаза: столько въ нихъ было мягкости, доброты, сочувствія и жалости къ людямъ! По словамъ Писемскаго, они напоминали глаза умирающей газели. Описывая его въ своемъ дневникъ, Гонкуръ говоритъ: «Это очаровательный колоссъ, ласковый седой гиганть, имеющій видь добраго горнаго или лесного духа. Онъ прекрасенъ, величаво и чрезвычайно прекрасенъ, съ небесной голубизною въ глазахъ»; («c'est un colosse charmant, un doux géant aux cheveux blancs, qui a l'air d'un bienveillant génie d'une montagne ou d'une forêt. Il est beau, grandement beau, énormement beau, avec du bleu du ciel dans les yeux»). Но голось его, высокій и мягкій, съ легкимъ пришепетываніемъ, похожій на женскій или, по замічанію Гонкура, — дътскій — la parole enfantine, мало вязался съ его могучей фигурой. Конечно, этоть недостатокъ скоро забывался подъ вліяніемъ очарованія его устных разсказовь, въ которых слышалось творчество удивительнаго художника, переживавшаго все, что онъ говорилъ. Я помню его разсказъ о висчатлъніи, произведенномъ на него скульптурами, найденными при Пергамскихъ раскопкахъ. Возстановивъ ихъ въ томъ видъ. въ какомъ онъ должны были существовать, когда рука времени и разрушенія ихъ еще не коснулась, онъ изобразиль ихъ слушателямъ съ такимъ увлеченіемъ, что вскочиль со своего мъста и въ лицахъ представляль каждую фигуру. Было печально сознавать, что эта блестящая импровизація пропадеть безследно. Хотелось сказать словами одного изъ его «Стихотвореній въ прозъ»: «Стой! какимь я теперь тебя вижу. останься навсегда въ моей памяти!»

Мягкій и довърчивый въ отношеніяхъ къ людямъ, уступчивый до слабости и чрезмърной снисходительности, онъ страшился возможности огорчитть и потому никогда не ръшался отказать. Это ставило его не разъ въ неловкія и тягостныя положенія и давало поводъ его друзьямъ повторять отзывъ одного изъ нихъ: «а въдь Иванъ Сергъевичъ — бабьё порядочное». Но преобладающимъ свойствомъ его была доброта. Она была написана на его лицъ, а въдь лица похожи на жилища: по инымъ видно, что внутри холодно и темно. Свътомъ и тепломъ въяло отъ милаго лица Тургенева, обрамленнаго густою раннею съдиною. Это преобладающее

свойство его сказывалось въ разныхъ проявленіяхъ его личности. Такъ. прежде всего, ему было чуждо чувство зависти къ чужому таланту или успъхамъ, столь часто встръчающееся даже у выдающихся писателей, имьющихь свой собственный высь и значение. Въ письмахъ его разсыпано искреннее восхищеніе предъ важнъйшими произведеніями Островскаго, Достоевскаго, Григоровича, Гончарова и Льва Толстого. Онъ восторженно отзывался, несмотря на лично холодныя отношенія съ Толстымъ, о «Войнъ и міръ». «Мое сужденіе, — писалъ онъ Пичу — объ этомъ романъ непоколебимо: это величайшій современный эпосъ». А между тъмъ онъ предъявлялъ къ литературнымъ произведеніямъ большія требованія. Достаточно просмотръть его критическія замъчанія на стихи Полонскаго, котораго онъ признаваль однако истиннымъ поэтомъ, - вспомнить суровый отзывъ о стихотвореніяхъ Некрасова или заявленіе, что стихи гр. А. К. Толстого ему въ ротъ не лъзутъ: до того въ нихъ все безжизненно-величаво, правильно и невърно. Расходясь во вкусахъ и идеалахъ съ Чернышевскимъ, съ какимъ уваженіемъ къ личному характеру и уму этого публициста относился онъ въ своихъ письмахъ! Рядомъ съ этимъ выливалось у него и чувство прощенія причиненныхъ ему горькихъ разочарованій и холодно-обдуманныхъ, безпричинныхъ обидъ. Старый другъ Некрасовъ, поддавшись злобъ дня, вынудилъ его печатать «Отцовъ и дътей» не въ старомъ гостепріимномъ «Современникъ», а у Каткова, и помъстилъ у себя ругательную критическую статью противъ автора «Отдовъ и детей», къ которой была по справедливости применима эпиграмма Пушкина объ «усыпительномъ зоиль», А между тымь, какимъ примирительнымъ и глубоко трогательнымъ аккордомъ звучитъ «Последнее свиданіе» въ «Стихотвореніяхъ въ прозъ», свиданіе съ умирающимъ Некрасовымъ, и съ какимъ участіемъ и сочувствіемъ отзывается Тургеневъ въ письмъ къ Полонскому объавторъ злобнаго намфлета на Кармазинова, читающаго свою повъсть «merci» (т.-е. «Довольно») въ «Бъсахъ».

Следуетъ прощать и можно забывать, но это очень часто приводитъ къ повторенію того, что было забыто. Да и поспешное забвеніе не соответствуетъ серьезному отношенію къ людямъ, поступки которыхъ редко являются чуждою ихъ натуре случайностью, а почти всегда бываютъ ре-

зультатомъ основной черты характера. Поэтому надо прощать въ жизни многое, но не забывать ничего. Такъ поступаль и Тургеневъ, доброта котораго не была слъной и безоглядной. Онъ это доказаль во время московскихъ торжествъ на объдъ по поводу открытія памятника Пушкину, когда Катковъ, допустившій передъ тъмъ жестоко изобличать и злобно язвить на страницахъ своей газеты Тургенева за денежную помощь, оказанную бъдствовавшему Бакунину, протянуль ему свой бокаль. Тургеневъ отвъчаль легкимъ наклоненіемъ головы, но своего бокала не подаль, а когда Катковъ во второй разъ сдълаль то же, онъ холодно посмотръль на него и покрыль свой бокаль ладонью руки, а на упрекъ подошедшаго къ нему поэта Майкова съ указаніемъ, что въ такой день можно все забыть, живо отвъчаль: «Ну, нъть, я старый воробей: меня на шампанскомъ не обманешь».

Едва ли нужно говорить о томъ, какъ широко, великодушно и деликатно приходиль онь на помощь множеству всякаго рода нуждающихся, неудачниковъ и горемыкъ растрачивая на эту помощь средства, въ которыхъ часто нуждался самъ, испытывая при этомъ очень часто на себъ справедливость скептическаго афоризма одного изъ своихъ пріятелей о томъ, что «ни одно доброе дъло не остается безъ наказанія». Сообщая въ 1874 г. Пичу о невозможности пріобръсти рекомендуемую ему картину бъднаго художника, онъ пишеть: «У меня теперь въ рукахъ было больше денегь, чёмь обыкновенно, но я, разумбется, не замедлиль ихъ выбросить въ окошко». Но не только его деньги иногда очень безцеремонно занимались или путемъ прозрачныхъ намековъ выпрашивались у него лично всякимъ, стучавшимъ въ его окошко, -- его время, его драгоценное для родного слова время, безжалостно расхищалось разными бездарными или самомнящими истеричками, требовавшими его отзывовъ о своихъ «твореніяхъ» и затъмъ изливавшими на него свои жалкія обвиненія въ «непониманіи» и «лукавствів». Можно бы привесть массу примёровь того, какъ онъ щадиль самолюбіе тёхъ, кому помогаль, стараясь остаться въ тени или даже вовсе безвестнымъ. Достаточно указать на его хлопоты о томъ, чтобы бъдная и больная учащаяся дъвушка пользовалась совътами знаменитаго парижскаго врача, для чего онъ вздиль къ алчному французу и внесъ ему значительный гонораръ за нъсколько

пріємовъ впередъ, увѣривъ въ то же время больную, что у этого врача можно ограничиться платой въ нѣсколько франковъ. Такъ же воспріимчивъ быль онъ и къ общественнымъ бѣдствіямъ. Стонъ боли и негодованія вырывается у него, когда онъ читаетъ о кукуевской катастрофѣ и о погибшихъ при ней. Онъ посылаетъ въ 1874 г. въ сборникъ «Складчина», изданный въ пользу голодающихъ Самарской губерніи, не страницу, не отрывокъ, а пѣлую повѣсть «Живыя мощи», вспоминая при этомъ про огромный тульскій голодъ 1841 года и про изумленный отвѣтъ старика-крестьянина на вопросъ, были ли тогда безпорядки и грабежи: «Какіе, батюшка, безпорядки! ты и такъ Богомъ наказанъ, а тутъ ты еще грѣшить станешь!»

Изъ этихъ же свойствъ его характера вытекало и настойчивое желаніе не быть въ тягость окружающимъ и, поддерживая въ себъ бодрое настроеніе, вселять его и въ другихъ. Въ этомъ отношеніи къ нему могли быть примънены слова князя Одоевскаго: «Жизнь добраго человъка есть доброе дёло въ жизни другихъ людей». Письма къ Полонскому, впадавшему въ уныніе отъ житейскихъ невзгодъ, полны ободреній. «Это неумно, — пишетъ онъ по новоду жалобъ своего друга на судьбу: — надо всячески держаться на поверхности, особенно въ наши годы, а то глупая житейская волна сейчась затопить. Бодрись, брать!» Однажды, не совладавъ съ собою и приподнявъ предъ Полонскимъ завъсу надъ своими душевными скорбями, онъ въ следующемъ затемъ письме горячо упрекаль себя, что посягнуль такимь образомь на его спокойствіе. «Не слъдуеть даже другу показывать свои тайныя раны; нужно было помнить, что я писаль человіку, у котораго собственнаго дійствительнаго горя и страданій довольно». Онъ примирился съ жизнью и не дёлаль себ'в по отношенію къ ней никакихъ иллюзій. Для него ея смыслъ быль не въ личномъ счастьт, а въ исполнении своего долга. Онъ самъ говоритъ: «Жизнь только того не обманываеть, кто не размышляеть о ней и, ничего отъ нея не требуя, спокойно принимаетъ ея немногіе дары и спокойно пользуется ими. Надо идти впередъ пока можно, а подкосятся ноги-ежсть близь дороги и глядъть на проходящихъ безъ зависти и досады: и они далеко не уйдутъ». И въ другомъ мъстъ: «Отреченіе, отреченіе постоянное — воть тайный смысль и разгадка жизни. Не исполненіе любимых выслей и мечтаній, какь бы они возвышенны ни были, исполненіе долга, - вотъ задача челов'єка: не наложивъ на себя желізныхъ ценей долга, не можеть онъ дойти, не падая, до конца своего поприша». Ему представлялось поэтому—и эта мысль сквозить во многихъ его произведеніяхъ, - что если челов'ять и не можеть быть, какъ это часто говорять, названь кузнецомь своего счастья, то во всякомь случать онь часто самъ куеть свое несчастіе. По его мийнію, правъ быль тоть крестьянинъ, который ему однажды сказаль: «Ахъ, батюшка, не истребляй себя человъкъ самъ, кто его истребить можеть!» Поэтому вотъ его совъты и правила жизни: не истребляй себя, будь терпъливъ, не падай духомъ и люби людей, не взирая ни на что. Онъ любилъ вспоминать, какъ ему-тогда еще студенту петербургского университета - говаривала квартирная хозяйка-нёмка, слыша его ропоть на судьбу, не баловавшую его присылкой денегь изъ отчаго дома: «Эхъ, Иванъ Сергъевичъ, не надо быть грустный, man soll nicht traurig sein; жисть — это есть какъ мухъ, — пренепріятный наксткомъ. Что дэлайть! тэрпэйть надо!» Въ проникнутые мрачной поэзіей словесные разсказы его въ кружкъ близкихъ знакомыхъ о своихъ снахъ и предчувствіяхъ довольно явственно вплеталось чувство ужаса передъ неизобжностью смерти, то чувство, которое такъ сильно звучить въ «Призракахъ» и некоторыхъ последнихъ его произведеніяхъ, напр., въ «Старухъ». Но и съ этимъ чувствомъ онъ боролся, стараясь его поб'єдить и восклицая: «И пусть надо мною вьется мой ястребъ: мы еще повоюемъ, чортъ возьми!»

Почти всё письма, на которыя мнё приходится ссылаться, написаны изъ-за границы, гдё Тургеневь провель значительную часть своей жизни,—и здёсь мы встрёчаемся съ упрекомъ, который такъ часто дёлали нашему писателю, видя въ его отсутствіи съ родины — отсутствіе любви къ Россіи и «тоски по родині». Но прежде всего—отсутствіе не значить разрывь и отчужденіе, и дай Богъ, чтобы всё упрекающіе его, взятые вмёстё, такъ служили духовнымъ интересамъ своего отечества, какъ это дёлаль Тургеневъ. Тоска по родині! Какъ злоупотребляють этими словами! Какъ забывають про цёлые періоды, когда съ полнымъ основаніемъ человёкъ развитой можетъ и даже долженъ чувствовать тоску по родині на родині! Да и что могла ему дать жизнь въ отече-

ствъ въ то время, когда, послъ ареста и ссылки въ деревню за некрологь Гоголя, онъ получиль возможность надолго убхать въ Германію, съ которою быль связань дорогими воспоминаніями о годахь своего философскаго образованія? Онъ не могъ не видіть, подобно Ивану Аксакову, за блестящей «фасадностью» Россіи гражданской «мерзости запуствнія» и духовной нищеты, которыя ставили передъ ней не въ первый и не въ послъдній разь роковую альтернативу возрожденія или гибели. Мы знаемъ что сдълалъ онъ для ея возрожденія и насколько удобиве ему было для этого, подобно Гоголю, взглянуть на Россію изъ своего «прекраснаго далека». Не поступать же ему было на службу подъ начальство какихънибудь выслужившихся канцеляристовъ, не скрывавшихъ своего презрънія къ «учэнымъ!» Не дълаться же болтливымъ членомъ кружка, «ein кружокъ in der Stadt Moskau», — не жить же въ деревиъ, задыхаясь въ атмосферѣ окружающаго крѣпостничества, или наконецъ, примиривъ литературу съ табелью о рангахъ, найти тихое пристанище въ тогдашнемъ цензурномъ въдомствъ. Со справедливой гордостью онъ могъ сказать словами Некрасова: «Напрасно ропоть укоризны за мною по пятамъ бъжалъ: не небесамъ чужой отчизны-я пъсни родинъ слагалъ».

Но зачемъ не вернулся онъ, когда въ Россіи просветлело и дышать етало легче, когда зажурчала мертвая дотоль жизнь общества, и передъ нимъ стали открываться широкіе горизонты и возникать благородныя задачи? Здёсь мы подходимъ къ тому, что можетъ быть по справедливости названо драмой его жизни. Не праздное любопытство влечетъ заглянуть въ нее, не желаніе насильственно раскрывать двери частной жизни. Нътъ! Любовь къ незабвенному писателю, желаніе понять его отсутствіе съ обновлявшейся родины побуждають къ этому, а напечатанныя письма и недостойная окраска его личности, допущенная близкими къ нему людьми, почти обязывають къ этому. Наука о человъческой душъ знаеть навязчивыя идеи, о которыхъ я уже упоминалъ, и навязчивыя состоянія, подробно описанныя нашимъ психіатромъ Бехтеревымъ. Внимательное изученіе выдающихся писателей указываеть, что у нікоторыхь изънихь бывали представленія, очевидно коренившіяся въ какомъ-нибудь сильномъ и глубокомъ впечатленіи ихъ жизни. Такія представленія, властно возникая въ душъ, часто и настойчиво вплетались въ ихъ произведенія.

Можно бы привести къ тому множество примъровъ. Достаточно указать на частое и однообразное, хотя и прекрасное повтореніе картины лунной ночи у Пушкина, или на одну и ту же картину у Достоевскаго, картину уединенной пыльной дороги, надвигающихся сумерокъ, налетающаго вихремъ вътерка, такъ часто предшествующую у него какому-нибудь потрясающему эпизоду, въ которомъ участвуютъ отецъ и маленькій сынь, будеть ли то сонь Раскольникова или слезы Илюшечки надъ поруганнымъ отцомъ, — или у того же писателя — наростаніе шума безсвязныхъ голосовъ надвигающейся толпы, которая вотъ-вотъ войдетъ: Подобное навязчивое представление можно уловить и у Тургенева. Припомнимъ «Переписку«, «Вешнія воды» и «Дымъ». Въ нихъ въ сущности одинъ и тотъ же сюжетъ: предъ человѣкомъ добрымъ и благородпымъ, но слабымъ и впечатлительнымъ, открывается спокойная семейная жизнь съ любимой искренно и нѣжно дѣвушкой; — и вдругъ въ лицѣ чарующей женщины, уже извъдавшей жизнь и ея соблазны, въ его существование вторгается всепобъждающая страсть и становится на порогъ новой жизни, все въ ней разрушая и подчиняя самого человека себе до униженія, до потери собственнаго достоинства, почти до полнаго безличія... Такъ налетфвшій урагань среди казавшагося безоблачнымь неба сразу разрушаеть почти доконченную постройку и, разметавъ сложенный въ ней очагъ, въ своемъ бурномъ вихръ увлекаетъ и самого строителя. «Какъ собака, я не могь жить нигдь, гдь она не жила, -я оторвался ото всего дорогого, отъ родины», говоритъ у Тургенева одинъ изъ такихъ захваченныхъ ураганомъ людей. Вспомните Санина, героя «Вешнихъ водъ», и его отъбздъ изъ Висбадена, — на узенькой скамеечкъ коляски, въ ногахъ у господина Полозова и его хищной супруги, —и все, что онъ испытываеть, когда пылающій гитвомь Панталеоне грозить ему и кричить: codardo! infame traditore! а пудель Тарталья лаеть, и «самый лай честнаго пса звучить невыносимымъ оскорбленіемъ». И затъмъ долгіе годы въ Парижъ и всъ униженія и муки раба, которому не позволяють ни ревновать, ни жаловаться.

Что Тургеневъ вложилъ въ изображение этихъ положении и душевныхъ мукъ частицу пережитаго, видно не только изъ глубины того чувства и той надрывающей душу скорби, которыя слишкомъ сильно звучатъ въ нихъ, чтобы быть проявленіемъ исключительно объективнаго творчества, но и изъ его письма Флоберу, въ которомъ онъ говоритъ по поводу «Вешнихъ водъ»: «Је me suis entrainé par des souvenirs». Вотъ почему его общій выводъ о томъ, что въ сущности такое любовь, есть не только результатъ его «ума холодныхъ наблюденій», но и «сердца горестныхъ замѣтъ». — «Любовь, — по его опредѣленію, — вовсе не чувство. Это болѣзнь души и тѣла. Она не развивается постепенно, — въ ней нельзя сомнѣваться, съ ней нельзя хитрить. Въ ней нѣтъ равенства и такъ называемаго свободнаго единенія душъ. Въ ней одно лицо — рабъ, а другое властелинъ — и сама она цѣпь, и цѣпь тяжелая».

Въ началъ сороковыхъ годовъ на петербургской оперной сценъ выступила знаменитая пъвица Полина Віардо-Гарсіа, о чарующемъ голосъ и удивительномъ искусствъ пънія которой съ единодушнымъ восторгомъ отзываются всъ современники. На дагеротипномъ портретъ, снятомъ съ нея нъсколько льтъ спустя, она изображена въгладкой прическъ, закрывающей на половину уши, съ проборомъ посрединъ и съ «височками». Крупныя черты ея некрасиваго лица съ толстыми губами и энергическимъ подбородкомъ тъмъ не менъе привлекательны благодаря ея прекраснымъ большимъ темнымъ глазамъ съ глубокимъ выраженіемъ. Подъ обаяніе ея чуднаго голоса и всей ея властной личности подпаль въ 1843 г. Тургеневъ-и на всю жизнь. «Эта привязанность, -- писаль онъ Авдвеву-срослась съ моей жизнью, и безъ нея я быль бы какъ безъ воздуха». Всякое извъстіе объ успъхахъ Віардо было для него настоящимъ праздникомъ. «Когда слышишь ее, -- говоритъ онъ Пичу-то по спинъ проходить холодная дрожь и плачешь слезами восторга». Воть какъ описываетъ очевидецъ музыкальное угро, устроенное ею уже въ самые последніе годы жизни Тургенева: «Голось ея, далеко не свежій и немного грубоватый, не очень поправился публикт, она хлопала только изъ въжливости, но Иванъ Сергъевичъ, бывшій когда-то свидътелемъ тріумфовъ великой артистки, быль и теперь еще, въроятно, подъ обаяніемъ этихъ воспоминаній. Онъ пришель въ самый искренній восторгъ. Его лицо раскраснелось, глаза горели, пряди волосъ падали въ безпорядкъ на его лобъ. Онъ хлопаль дольше и громче всъхъи, обернувшись къ публикъ, повторяль: «какова старушка, какова!» Черезъ триднать пять льть, посль первыхъ встрычь съ Віардо, въ сентябрь 1879 г. Тургеневъ началъ одно изъ своихъ «стихотвореній въ прозѣ» словами: «Гдъ-то, когда-то, давно-давно тому назадъ я прочелъ одно стихотвореніе. Оно скоро позабылось мною; но первый стихь остался у меня въ намяти: «Какъ хороши, какъ свъжи были розы». Теперь морозъ запушиль стекла оконь; въ теплой комнать горить свъча; я сижу, забившись въ уголь, а въ головъ все звенить да звенить: «какъ хороши, какъ свъжи были розы»...—Оказывается, что забытое Тургеневымъ и слышанное имь гдп-то и когда-то стихотвореніе принадлежало поэту Мятлеву, автору «Сенсацій госпожи Курдюковой дань летранже», раздёлявшему общее восхищение изніемъ Віардо. Оно было напечатано въ 1843 году подъ названіемъ «Розы». Начальная строфа этого стихотворенія, звучавшая черезъ три съ половиной десятильтія въ памяти Тургенева следующая: «Какъ хороши, какъ свъжи были розы-въ моемъ саду! Какъ взоръ прельщали мой, -- какъ я молилъ весеније морозы -- не трогать ихъ холодною рукой!» Тургеневъ, по его собственному выраженію, быль однолюбъ, и любовь, роковой характерь которой онъ такъ кратко и сильно опредълиль, захватила и связала его волю, сконцетрировала его чувство и ввела его въ заколдованный кругъ неотразимаго вліянія властной и выдающейся женщины. Онъ отдаль себя-свое время и сердце-всецьло семь в г-жи Віардо. Его дружескія письма къ немецкому критику Пичу, котораго онъ шутя называль ботаническимъ именемъ Pietschius amabilis grandiflorus semper virens, переполнены теплыми отзывами о дочеряхъ г-жи Віардо и даже о ея сынъ, скрипачъ Полъ, несмотря на то, что онъ «ужасно неотесанъ и подчасъ невыносимъ», --- нѣжными заботами объ ихъ удобствахъ и удовольствіяхъ, — постоянцыми тревогами о мальйшемь нездоровь г-жи Віардо и восторженными сообщеніями о вокальныхъ успъхахъ «этой чудной женщины». Жалуясь на свое скверное настроеніе, «строе съ желтоватыми пятнышками», на жестокіе приступы подагры и на разныя житейскія непріятности, Тургеневъ не забываль никогда прибавить, что, къ счастью, вся семья Віардо благополучна или все въ ней идетъ хорошо, а это въ концъ концовъ самое главное...

— Ну, и что же? — могуть намъ сказать — въдь онъ быль счастливъ въ этомъ заколдованномъ кругу! — Едва ли можно отвътить на это: да,

быль!—Къ сожальнію, онъ самъ, трогательно изовгая личныхъ упрековь и до гроба оставаясь върнымъ владычицъ своего сердца, даваль однако поводы думать, что этотъ заколдованный кругъ далъ ему очень немногое и, быть-можеть, лишиль его многаго, необходимаго его нъжной душъ. Его письма къ друзьямъ представляють въ этомъ отношении весьма важный матеріаль. Печаль по отсутствію своей собственной семьи начинаетъ сквозить въ нихъ довольно рано. Уже въ концъ 1856 года онъ жалуется на то, что осужденъ на одинокую цыганскую жизнь;что ему не свить своего гивзда, а между твмъ онъ слишкомъ старъ, чтобы не имъть такого; — что онъ словно вывихнутый изъ жизни и въ чужомь воздух разлагается, какъ мерзлая рыба при оттепели. Въ 1857 г. онъ пишетъ Некрасову изъ Парижа: «Ты видишь, что я здъсь, т.-е., что я сдёлаль именно ту глупость, отъ которой ты меня предостерегаль... Но поступить иначе было невозможно. Впрочемь, результатомъ этой глупости будеть, въроятно, то, что я раньше пріъду въ Петербургь, чемь предполагаль. Неть, ужь точно: этакъ жить нельзя. Полно сидеть на краешкъ чужого гиъзда. Своего нътъ-ну и не надо никакого. Боже мой! Какъ мнъ хочется поскоръе въ Россію! Довольно, довольно, полно!» — А въ 1858 г. онъ пишетъ «До скораго свиданія. Повторяю тебъ, не сомнъвайся во мнъ. Прочтя слово: Парижъ, ты, пожалуй, подумаешь: «вреть, онъ тамъ и останется». На это скажу тебъ одно: одной особы тогда въ Парижъ не будетъ... Во всякомъ случаъ, если я буду живъ, я въ концъ мая въ Петербургъ; никакія силы не удержать меня здъсь болъе. Полно—перестань, ты заплатиль безумству дань».—Въ 1861 году онъ пишетъ Колбасину, въ письмъ котораго усмотръль намеки на намъреніе его жениться: «Я вижу, что туть замішана женщина—и хорошо замъшана». И гораздо позже, въ 1879 году, онъ пишеть Л. Н. Толстому: «Радуюсь вашему семейному благополучію. Точно: тяжелыя и темныя времена переживаеть теперь Россія; — но именно теперь-то и совъстно жить на чужбинъ-это чувство во мнъ все сильнъе и сильнъея повду на родину, не размышляя вовсе о томъ, когда сюда вернусь, да и не желая скоро вернуться». И рядомъ съ этимъ приходится видъть, какими прочными цъпями и какъ подчасъ безжалостно онъ окованъ. Его «не отпускають» въ 1861 г. въ Россію, гдъ только-что совершилось

освобождение крестьянъ и куда его страстно влечетъ, такъ что «лихорадка колотить и досада душить». Въ 1868 году его настоятельно призывають въ Баденъ-Баденъ изъ Парижа отъ одра умирающаго друга — Герцена и запрещають вернуться назадь. И въ томъ же 1868 году, тамъ же, въ Баденъ-Баденъ, онъ, находившій, что «человъкъ, который считаеть себя писателемъ и пишеть больше, чёмъ на одномъ своемъ родномъ языкъ, — несчастный, жалкій и бездарный субъекть», сочиняеть три французскихъ либретто къ опереткамъ госпожи Віардо и двѣнадцать разъ выступаетъ въ качествъ Людобда, въ рыжемъ парикъ на почтенныхъ съдинахъ, на домашнихъ спектакляхъ въ ея домъ передъ — какъ онъ выражается — чрезвычайными особами. Что это давалось ему не легко, видно изъ его письма къ Пичу, въ которомъ онъ говорить: «Долженъ сознаться, что во мив что-то дрогнуло, когда я въ роли моей лежаль на полу и замътиль легкую усмъшку традиціоннаго презрънія на неподвижныхъ губахъ надменной прусской кронпринцессы. Несмотря на то, что я здъсь вообще не избаловант почтительным ко мню отношеніемъ, тімь не менье мні показалось, что это ужь слишкомь». Въ письмахъ къ Борисову въ 1871 г. изъ Парижа онъ говоритъ: «Я не успъль еще здъсь оглядъться, какъ слегь, а Віардо на нъсколько дней убхали погостить къ друзьямъ на берегъ моря, и такимъ образомъ я очутился вдругъ одинъ въ этомъ страшеннъйшемъ городищъ? Но мнъ было недурно, я отдохнулъ. Только ночи были скверныя. Ну, да это все ничего!» А въ 1878 г. онъ-шестидесятильтній старикъ — пишеть Флоберу изъ города Кана (Caen) въ Нормандіи: «Вы спросите, что значить этотъ Канъ, зачемъ я въ Канъ? А вотъ! Дамы семейства Віардо должны провести двъ недъли на берегу моря и меня послали разыскивать чтонибудь подходящее». Если къ этимъ ссылкамъ добавить разсказъ одного изъ друзей писателя, пріфхавшаго послі долгой разлуки повидать топsieur Tourdeneuf (такъ звала его прислуга Віардо) въ St. Germain — о его сконфуженномъ видъ, когда на его повторную просьбу прислать чтолибо, чтобы угостить прівзжаго, ему отвічали черезъ лакея рішительнымъ отказомъ, такъ что пришлось ограничиться предложениемъ стакана воды съ оказавшимся подъ рукою сахаромъ, — или разсказъ другого посътителя, изумленнаго раздавшимся вслъдъ Тургеневу изъ окна дома

Віардо різкимъ повелительнымъ и не стісненнымъ ничімъ окрикомъ «Jean!» — то станетъ особенно понятною переданная мні покойнымъ Борисомъ Николаевичемъ Чичеринымъ одна изъ бесідъ его съ Тургеневымъ въ первой половині шестидесятыхъ годовъ. Чичеринъ заговорилъ какъ-то о необходимости выходить изъ фальшивыхъ положеній въ жизни, т. е. о томъ, что такъ кратко выразилъ Александръ Дюма-сынъ, сказавшій: «on traverse une position équivoque, on ne reste pas dedans».

«— Вы думаете?!—съ грустной ироніей воскликнуль Тургеневъ:— изъ фальшивыхъ положеній не выходять! Нѣть-съ, не выходять! Изънихъ выйти нельзя!»

Прежде, чъмъ закончить съ этой полосой въ личной жизни Тургенева, я не могу не обратиться къ своимъ личнымъ воспоминаніямъ. Осенью 1879 года въ Парижъ мы были съ нимъ приглашены на завтракъ въ очень маленькомъ обществъ. Затхавъ за нимъ, я сталь подниматься въ верхній этажъ дома въ rue de Douet, куда вела лъстница темнаго дерева, съ широкимъ пролетомъ посрединъ. Проходя мимо дверей того этажа, который у насъ называется бель-этажемъ, я услышаль за ними чей-то довольно ръзкій голось, выдълывавшій вокальныя упражненія, прерываемыя по временамъ чьими-то замічаніями. Наверху меня встрътилъ Иванъ Сергъевичъ и ввель въ свое помъщеніе, состоявшее изъ двухъ комнатъ. На немъ была старая, довольно потертая бархатная куртка. Царившая въ комнатахъ «оброшенность» непріятно поразила меня. На маленькомъ закрытомъ роялъ и положенныхъ на него нотахъ лежалъ густой слой пыли. Штора, стариннаго прямого образца, однимъ изъ своихъ верхнихъ угловъ оторвалась отъ палки, къ которой была прикръплена, и висъла поперекъ окна, загораживая отчасти свътъ, очевидно, уже давно, такъ какъ и на ея складкахъ замъчался такой же слой пыли. Расхаживая во время разговора съ хозяиномъ по комнатъ, я не могъ не замътить, что и въ состаней небольшой спальной все было въ безпорядкт и не убрано, несмотря на то, что быль уже второй часъ дня. Мив невольно вспомнился стихъ Некрасова: «Но тотъ, кто любящей рукой не охраненъ, не обезпеченъ»... Видя, что оживленная бесъда съ Тургеневымъ, очень интересовавшимся событіями и ходомъ дёль на родинё, можеть насъ задержать, я напомниль ему, что насъ ждуть. — «Да, да, — заторопился

онь-сейчась я ольнусь!» - и черезь минуту вышель въ темно-съромъ пальто изъ какой-то матеріи, напоминавшей толстую парусину. Продолжая говорить, онъ хотвлъ застегнуться и машинально искалъ пуговицы, которой уже давно на этомъ мъстъ не было. — «Вы напрасно ищете пуговицу, — замътилъ я, смъясь — ея нътъ!» — «Ахъ! — воскликнулъ онъ — и въ самомъ дълъ! Ну, такъ мы застегнемся на другую», -- и онъ перевелъ руку на одну петлю ниже, но соотвътствующая ей пуговица болталась на ниточкахъ, за которыми тянулась выступившая наружу подкладка. Онъ добродушно улыбнулся и, махнувъ рукою, просто запахнулъ пальто, продолжая разговаривать. Когда, спускаясь съ лёстницы, мы стали приближаться къ дверямъ бель-этажа, за ними раздались звуки сильнаго контральто, тоже, какъ казалось, передававшіе какое-то вокальное упражненіе. Тургеневъ вдругъ замолкъ, шепнулъ миѣ: — «Ш-ш-ш!» и смѣнилъ свои тяжелые шаги тихой поступью, а затёмъ остановился противъ дверей, быстрымъ движеніемъ взяль меня ниже локтя своей большою, покрытой ръдкими черными волосами рукою, и сказаль мнъ, показывая глазами на дверь: «Какой голосъ! до сихъ поръ». Я не могу забыть ни выраженія его лица, ни звука его словъ въ эту минуту: такой восторгъ и умиленіе, такая нежность и глубина чувства выражались въ нихъ. За завтракомъ онъ быль очень весель и много разсказываль о Zolà и о Daudet. Подъ конецъ наша собесъдница какъ-то затронула вопросъ о бракъ и шутливо нросила Тургенева убъдить меня наложить на себя брачныя узы. Тургеневъ заговорилъ не тотчасъ и какъ бы задумался, а потомъ поднялъ на меня глаза и сказалъ серьезнымъ и горячимъ тономъ: «Да, да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе представить не можете, какъ тяжела одинокая старость, когда по-неволь приходится пріютиться на краешкъ чужого гитзда, получать ласковое отношение къ себъ, какъ милостыню, и быть въ положеніи стараго иса, котораго не прогоняютъ только по привычкъ и изъ жалости къ нему. Послушайте моего совъта! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее!» Все это было сказано съ такимъ плохо затаеннымъ страданіемъ, что мы невольно переглянулись; Тургеневъ это замътиль и вдругъ сталъ собираться уходить, повидимому, недовольный вырвавшимся у него заявленіемъ. Мы стали его удерживать, но онъ сказаль: «Нътъ, я и такъ засильлся. Мит надо домой. Дочь m-me Viardot больна и въ постели. Можетъ оказаться нужнымъ, чтобы я съъздиль къ доктору или сходилъ въ аптеку». И, запахнувъ свое пальто, онъ торопливо распростился съ нами и ушелъ.

Таковы были условія личной жизни дорогого намъ писателя. Едва-ли кто-нибудь признаетъ ихъ завидными. . . Но по смерти его ждало нъчто еще менъе завидное. У госпожи Віардо есть дочь Луиза, по мужу Геррить, и на нее, конечно, тоже распространялись заботы Тургенева. Онъ чуть не поссорился съ Пичемъ за промедление въ доставлении перевода съ либретто къ ея оперъ, которая должна была быть поставлена на придворномъ театръ въ Веймаръ; онъ пережилъ много волненій и заботъ вследствіе ея тяжелыхь родовь и поместиль ее вь своей квартире, самь перебравшись въ двъ маленькія комнатки. И воть эта-то самая госпожа Геррить-Віардо весною 1907 года напечатала въ одной изъ вліятельныхъ и весьма распространенныхъ газетъ — «Frankfurter Zeitung», всегда отличавшейся, какъ, впрочемъ, и вся нъмецкая пресса, большимъ уваженіемъ къ творчеству и памяти Тургенева, поразительное письмо. Въ немъ говорится, что Тургеневъ, проживъ тридцать лътъ въ домъ Віардо съ полнымъ комфортомъ, за все это время не платилъ и даже не пытался платить хозяевамъ, хотя последніе были бы весьма не прочь отъ этого. «Тургеневъ, — нишетъ г-жа Геррить: — умеръ послъ полуторагодичной бользни; ему и въ голову не пришло поблагодарить наст за въ высшей степени тяжелый, утомительный и дорогой уходъ за нимъ, завъщавъ намъ хотя бы часть своего крупнаго состоянія. Его милліоны(!!!) унаслъдовала старая кузина, которой онъ никогда не зналъ, и у которой безъ того были свои милліоны»... Оставляя въ сторонъ фантастическіе милліоны, измышленные г-жей Геррить подъ вліяніемъ расходившагося денежнаго аппетита, дозволительно сдёлать нёсколько фактическихъ поправокъ къ ен письму. Такъ, по удостовъренію вдовы Я. П. Полонскаго близкаго друга Тургенева, — последній, при выходе замужь другой дочери Віардо — Маріанны — продаль часть своего имѣнія и вырученную сумму даль ей въ приданое. Семейству Віардо онъ оставиль всю, очень крупную, сумму, полученную при покупкъ у него права литературной собственности на его произведенія. Этой же семьт, по свидътельству М. М. Стасюлевича, было предназначено все, что будеть выручено отъ

продажи остальной части родового имущества, и лишь смерть Тургенева помѣшала русскому консулу засвидѣтельствовать подпись умирающаго на данной съ этой цѣлью довъренности. Въ 1870 году Тургеневъ пишетъ Маслову: «Въ человъческой жизни Богъ воленъ; если бы я внезапно окачурился, то ты долженъ знать, что оставленыя у тебя на сохраненіе акціи мною куплены для моей милой Клавдіи Віардо и потому должны быть—въ случаъ какой-нибудь катастрофы—доставлены г-жѣ Віардо въ гор. Баденъ-Баденъ. Я совершенно здоровъ, но осторожность никогда не мѣшаетъ».—«Милый другъ Иванъ Ильичъ,—пишетъ онъ Маслову черезъ два года—изъ тридцати тысячъ рублей, оставшихся на твоихъ рукахъ послѣ покупки акцій, купи еще на пять тысячъ акцій, попрежнему на имя г-жи Віардо»; и въ 1874 г. проситъ Маслова прислать денегъ, продавъ купоны отъ его, Тургенева, бумагъ, такъ какъ курсъ хорошій, а ему, по случаю свадьбы дочери г-жи Віардо, Клавдіи, приходится порядкомъ расходоваться.

Нужно ли говорить, что и помимо всего этого нравственный обликъ Тургенева является отрицаніемъ самой возможности того, что вышло изъподъ злоръчиваго пера третьей дочери г-жи Віардо. Можно лишь удивляться, что эта дама, повидимому, «знобимая, — по прекрасному выраженію Пушкина—стяжанья лихорадкой», ждала почти четверть въка, чтобы заявить о своемъ недугъ и начать предъ нъмецкой публикой оплакивать поруганные русскимъ прихлебателемъ интересы своей семьи. Но есть нъчто, внушающее еще большее удивление. Молчание - знакъ согласія, а сама г-жа Полина Віардо, столь чувствительно письменно благодарившая послъ смерти Тургенева «дорогихъ ей русскихъ, истинныхъ друзей ея дорогого и незабвеннаго Тургенева», — молчить! Она, тогда же писавшая Людвигу Пичу: «Ахъ, дорогой другъ, это слишкомъ, слишкомъ много горя для одного сердца! Не понимаю, какъ мое еще не разорвалось!.. Боже мой, какое страданіе!» — молчить... Такимъ образомъ, заключительнымъ аккордомъ грустной повъсти о личной жизни Тургенева является попытка почтеннаго семейства, отнявшаго у него родину и близость друзей, отнять и доброе имя и изъ человъкаальтруиста въ словъ и дълъ сдълать жалкаго приживальщика, заплатившаго за оказанныя ему благодіянія лишь рыжимъ парикомъ на забаву чрезвычайныхъ гостей и побъгушками для исполненія порученій...

Но не одна личная жизнь Тургенева заключала въ себъ элементы драмы. Они нашлись и въ его жизни общественной. Появление его лучшаго по законченности, глубинъ и неподражаемой красотъ романа «Отцы и дъти» было встръчено вліятельной критикой начала 60-хъ годовъ со сленой враждебностью. Ея близорукимъ представителямъ показалось, что Тургеневъ недостаточно низко клонитъ свою голову предъ тогдашними кумирами. Пошлое обвинение въ «клеветъ на молодое поколъпіе» было пущено въ ходъ, а самъ авторъ приравненъ къ «мракобъсному» издателю «Домашней беседы» Аскоченскому и названъ «Асмодеемъ нашего времени». Лишь въ чуткой душт Писарева яркій образъ Базарова нашель себъ правильную оцънку, да Достоевскій, по словамъ самого Тургенева, прозрѣлъ правдивость и значительность новаго произведенія. Большой художникъ, Тургеневъ, несмотря на вившнюю выдержку и кажущееся равнодущіе, не могь развить въ себт олимпійскаго спокойствія своего великаго учителя Пушкина, и сказать себъ: «ты самъ доволенъ ли, взыскательный художникъ? Доволенъ? Такъ пускай толпа бранитъ и плюетъ на алтарь, гдъ твой огонь горить, и въ дътской ръзвости колеблеть твой треножникъ». Онъ несомнънно страдаль и какъ художникъ, и какъ человъкъ, которому, по благородному почину нъкоторыхъ критиковъ, толпа злорадныхъ невъждъ, живущихъ чужимъ умомъ, приписывала самыя низменныя побужденія. «Можеть ли оставаться спокойнымь, — говорить Брайть въ одной изъ своихъ блестящихъ ръчей — человъкъ, достойный любви и уваженія, когда онъ сознаеть возбуждаемую противъ него ненависть и слышить острое шинтніе клеветы, которую нельзя поймать и раздавить, какъ змѣю, ползущую во тьмѣ». Тургеневъ самъ писалъ Пичу уже въ 1869 году: «Русской молодежи внушили, что типъ Базарова обидная карикатура и памфлетъ. Изъ-за Базарова меня забросали и забрасывають грязью, оскорбленіями, ругательствами», и еще въ 1879 году онъ говорилъ Полонскому по поводу «Нови»: «Если меня за «Отцовъ и дътей» били палками, за «Новь», конечно, будутъ лупить бревнами, и точно такъ же съ объихъ сторонъ». Глубоко опечаленный, онъ даже ръшился навсегда оставить писательство, простившись съ читателями въ своемъ глубоко поэтическомъ «Довольно». Но выполнить до конца свою рѣшимость онъ не могъ. Творческая натура слишкомъ властно предъявляла свои требованія, а явленія общественной жизни настойчиво призывали его подать голосъ. Такъ появились «Дымъ» и въ 1876 г.— «Новь». За весь этотъ періодъ, начиная съ 1862 года, жадно читаемый за границей Тургеневъ испытывалъ на родинъ справедливость евангельскаго изреченія о томъ, что «нъсть пророка въ отечествъ своемъ», и стоялъ какъ бы въ тѣни, подвергаясь, по собственному выраженію, снисходительному презрѣнію господъ рецензентовъ.

Желаніе бросить литературную д'ятельность жило въ немъ все это время. Послъ первой части «Нови», встръченной въ печати и публикъ холодно, онъ просиль Полонскаго пріостановить свое окончательное сужденіе до появленія второй части и заявляль, что «во всякомь случав и какое бы ни сложилось ръшительное мнъніе публики, это уже, конечно, моя последняя работа. Довольно, довольно». Онъ въ 1877 г. извещаль Поля Линдау, что отложилъ перо съ намъреніемъ никогда больше не брать его въ руки, и это решение непоколебимо. Но къ концу семидесятыхъ годовъ устарълыя, одностороннія, предвзятыя нападки на автора «Отцовъ и дътей» совершенно прекратились, и снова симпатіи всего, что было лучшаго въ русскомъ мыслящемъ обществъ, обратились къ нему. Особенно восторженно относилась къ нему молодежь. Ему приходилось убъждаться въ заслуженномъ вниманіи и тепломъ отношеніи общества почти на каждомъ шагу, и онъ самъ съ милой улыбкой внутренняго удовлетворенія говориль, что русское общество его простило. Эти вниманіе и отношеніе достигли своего апогея въ 1880 г. во время Пушкинскихъ празднествъ въ Москвъ, когда каждое выступление его сопровождалось восторженными оваціями. Не только избраніе его въ почетные члены московскаго университета и заключительныя слова его рѣчи въ Обществъ любителей россійской словесности о томъ, что настанеть время, когда на вопросъ, кому поставленъ только-что открытый намятникъ, простой русскій челов'єкъ сознательно отв'єтить: «учителю», --вызвали бурный взрывъ рукоплесканій и привътственныхъ криковъ, но то же самое повторялось съ особой силой и тогда, когда на литературномъ вечеръ въ Дворянскомъ собраніи Писемскій сняль съ бюста ПушТургенева. Въ средъ своихъ лучшихъ представителей русское общество какъ бы вънчало въ Москвъ въ его лицъ достойнъйшаго изъ современныхъ ему преемниковъ Пушкина. Все это оживило Тургенева и вернуло ему прежнюю бодрость, не смотря на то, что онъ уже за нъсколько лътъ раньше сравнивалъ себя и Полонскаго съ двумя черенками давно разбитаго сосуда. Уже въ началъ 1881 года онъ пишетъ: «Я теперь снова намъренъ работать. Сначала кончу «Отрывки изъ воспоминаній своихъ и чужихъ», а затъмъ примусь за другую пебольшую, но но содержанію драматическую вещь, которая вертится у меня въ головъ. Литературная жилка во мит зашевелилась. Неужели изъ стараго засохшаго дерева пойдутъ новые листья и даже вътви?»—Эти листья и вътви были: «Отчаянный», «Стихотворенія въ прозт» (Senilia) и «Клара Миличъ»—названные имъ въ письмъ къ Пичу «послъдними вздохами старика».

Писательская судьба Тургенева и Достоевскаго была во многомъ сходная. Оба они имѣли обще признанный успѣхъ послѣ первыхъ своихъ произведеній, а затъмъ и величайшій изъ романовъ Достоевскаго «Преступленіе и наказаніе» быль встрічень поверхностными отзывами, злобнымъ шипъніемъ и даже безсмысленными утвержденіями, что будто бы многострадальный авторъ «Мертваго дома» написалъ «доносъ на молодежь». И ему, подобно Тургеневу, пришлось долго ждать оцънки своихъ позднъйшихъ произведеній и общаго восторженнаго признанія, съ необыкноной силой проявившагося во время тъхъ же Пушкинскихъ празднествъ въ 1880 г. Но затемъ судьба была боле жестока къ Тургеневу. Достоевскій умерь почти сразу, страдая очень недолго, а къ Тургеневу подступиль медленный мучительный недугь, въ течение трехъ лать ежедневно все болъе и болъе явственно напоминая о близости могилы и давая осязательное основаніе тому страху смерти, который издавна мучилъ Тургенева. Еще въ 1872 году онъ писалъ Пичу: «Со мной идеть все подъ гору, подъ гору, и воть она уже стоить — бледная, нёмая, холодная, всепожирающая, вёчная ночь». Та яма, пятно, могила, о которой онъ такъ потрясающе говорить въ «Старухѣ» — съ 1881 года «сама шла, ползла на него», неотвратимо и безъ остановки...

Страданія его особенно обострились съ начала 1882 года. Уже въ мать онъ пишеть Полонскимъ: «Когда вы будете въ Спасскомъ, поклонитесь отъ меня дому, саду, моему молодому дубу, родинъ поклонитесь. которую я, віроятно, уже никогда не увижу»; въ іюні, называя себя «челов комъ похереннымъ» и «молюскомъ, ведущимъ жизнь устрицы», онъ просить утвшить его присылкою сиреневаго цвътка изъ родного Спасскаго, а въ декабръ съ безнадежнымъ отчанијемъ восклицаетъ: «Меня не только тянеть, меня рветь въ Россію». Съ этого времени письма его, среди трогательныхъ воспоминаній о родинъ и теплыхъ заботъ о гостившихъ въ далекомъ Спасскомъ друзьяхъ, содержать въ себъ описанія жестокихъ мученій, причиняемыхъ ему недугомъ. Тутъ цільній арсеналъ пытокъ: и безсонница отъ боли, преодолъваемая лишь вспрыскиваніемъ морфія, и невозможность не только ходить, но и стоять болье нъсколькихъ минутъ безъ номощи какой-то машинки, и разныя невыносимыя страданія въ груди, сердці и печени. Болізнь, какъ коршунь Прометея, все глубже и глубже вонзаеть свой клювь въ изможденное тело страдальца. И письма становятся все короче, отрывистье. Они пишутся уже не совствъ разборчивымъ почеркомъ, вмъсто яснаго и твердаго, карандашомъ или даже постороннею рукою. И все заканчивается письмомъ отъ 12 мая 1883 г. Воть оно: «Давно я не писаль къ вамъ, любезные друзья мон, да и о чемъ было писать! Бользнь не только не ослабьваеть, она усиливается. Страданія постоянныя, невыносимыя, надежды никакой! Жажда смерти все растеть, и мнв остается просить вась, чтобы и вы съ своей стороны пожелали осуществленія желанія вашего друга. Обнимаю васъ встхъ». Но еще около трехъ мъсяцевъ продолжала играть смерть со своей жертвой, какъ кошка съ мышью.

Если однако личная жизнь для Тургенева перестала существовать и обратилась въ силошное страданіе, то мысли его оставались върны тому высокому дълу творчества, которое было его призваніемъ. Римляне говорили: Caesarem licet stantem mori! Но и литература имъетъ своихъ цезарей, и однимъ изъ нихъ былъ умиравшій Тургеневъ. Онъ выпрямился предъ кончиной во весь свой духовный ростъ и, уже отръшившись отъ всего личнаго, земного, обратилъ свою мысль на судьбы родного, дорогого ему слова. Собравъ послъднія силы, дрожащею рукою, каран-

дашомъ написаль онъ послюднее свое письмо—письмо къ Льву Николаевичу Толстому: «Я быль и есмь на смертномъ одрѣ; нишу собственно,
чтобы сказать, какъ я быль радъ быть вашимъ современникомъ, и выразить вамъ мою послѣднюю, искреннюю просьбу. Другъ мой, вернитесь
къ литературной дъятельности! Вѣдь этотъ вашъ даръ оттуда, откуда,
все другое. Какъ былъ бы я счастливъ, если бы могъ подумать, что
просьба моя такъ на васъ подъйствуетъ! Я же человѣкъ конченный.
Другъ мой! великій писатель земли русской—внемлите моей просьбѣ!
Не могу больше, усталь!»

22 августа онь скончался въ Буживалъ, потерявъ сознаніе за два дня до этого. Его лицо, по свидътельству очевидцевъ, приняло величавое спокойствіе смерти. Сдвинутыя брови придавали ему строгій видъ. Но вскоръ къ нему вернулось его доброе и кроткое выраженіе лица. Мы пе знаемъ, были ли связаны его послъднія сознательныя минуты съ нъжнымъ и искреннимъ, а не показнымъ вниманіемъ, но грустно думать, что около него не было родной души, не было близкаго русскаго человъка, который на его: «не могу больше, усталь!» отвътилъ бы утъшительными словами лучшаго изъ его преемниковъ, тоже умершаго вдали отъ родины: «дядя Ваня, мы отдохнемъ!.. Мы отдохнемъ...»

Кончая и благодарно преклоняясь передъ памятью Тургенева за все, что онъ оставилъ намъ, — за всё высокія и чистыя чувства, которыя онъ умёль возбуждать, — за то неоцёнимое художественное наслажденіе, которое онъ далъ намъ вкусить въ своихъ незабвенныхъ твореніяхъ, я невольно обращаюсь съ мыслью и къ двумъ другимъ великимъ русскимъ писателямъ. Творенія Достоевскаго представляются мнё глубокой шахтой, прорытой въ самыя нёдра человёческой души, со сложными подземными ходами, въ концё которыхъ таится золото сердечныхъ движеній и слезы умиленія и сочувствія людскому несчастью. При мысли о Толстомъ мнё рисуется Сахара, которую путешественники описывають какъ знойную пустыню, гдё замираетъ жизнь и гдё, при наступающихъ сумеркахъ, къ молчанію смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идетъ на водопой левъ и наполняетъ своимъ рыканіемъ пустыню. Ему отвёчаютъ жалобный вой звёрей, крики ночныхъ птицъ и далекое эхо... и пустыня оживаетъ. Такъ и съ этимъ Львомъ. Онъ можетъ иногда

заблуждаться въ своемъ гитвномъ исканіи истины. Но онъ заставляетъ работать мысль, нарушаетъ самодовольство молчанія, будить окружающихъ отъ сна и не даетъ имъ уснуть въ застот болотнаго спокойствія. А Тургеневъ въ своихъ твореніяхъ напоминаетъ мит готическій храмъ, глубоко заложенныя въ землю сттны котораго стремятся вверхъ, чаруя взоръ своими цвтными лучистыми окнами, изящными пролетами и кружевной ртзьбой, и, переходя въ стройныя башни, смтло поднимаются въ ясное небо, въ небо возвышенныхъ стремленій, благородства мысли и чувства, въ небо правственнаго идеала.

А. О. Кони.

оберхлический до серемо пирадам смокемы полным. Ме опоснению обрудие оберхно оберхно

The production of the state of

in attrapped the state which describes a transfer attraction. The state of the stat

The action are present as considered before the appropriate and a considered as a considered a

enpuero, na disreguis cuirpire aparonquino me dans a dede il ro ere un elegante deni el monrecurse courat presquiente frecessio il roccure enpuente del marria, aparei di accepta indica a desenve un apereiro appronque. Tano ar de rocció diguido. Con accepta una











